

ВЛАДИМИР РУГА, АНДРЕЙ КОКОРЕВ

МОСКОВСКИЕ НЕМЦЫ

*Сверху донизу вывески сплошь
Покрывают громадные стены.
Сколько хочешь тут немцев найдёшь —
Из Берлина, из Риги, из Вены.*

Н. А. Некрасов

“Московский немец — это явление довольно оригинальное, — писал в 1901 году фельетонист журнала “Развлечение”, — и о нём стоит сказать, так как тип этот бросается в глаза даже малонаблюдательному человеку”.

Первое, что отметил автор очерка в собирательном образе немца, укоренившегося в Москве, — это его уникальное свойство быстро вписаться в новую жизненную среду:

“Московский немец обживает в Белокаменной довольно быстро и, если ему повезло в делах, то он считает Москву своим городом, толкует об её интересах и даже проектирует различные реформы и улучшения.

— Мы, москвичи, — говорит он, попыхивая сигарой, — должны стараться из всех сил...

— Постой! — перебивают его. — Да какой же ты москвич! Тебя зовут Карл-Мария, и живёшь ты здесь относительно недавно...

— Всё равно! — отрезывает немец. — Здесь помещён мой капитал, и потому я считаю, что здесь находится моя родина, а каждый человек должен стараться для своей родины!

Если хотите, до некоторой доли это справедливо, но дело в том, что капитала никакого немец здесь не помещал, а нажил его целиком в России, и потому этой стране он должен быть несколько благодарен”.

Прекрасно подтверждает эти слова биография предпринимателя Людвиг-Иоганна Кнопа (превратившегося в России во Льва Герасимовича). Юношей он попал в Россию представителем английской фирмы “Де Джерси” и уже через несколько лет стал основным посредником при поставках из Англии станков и паровых машин на русские текстильные фабрики. Его клиентами были столпы российского капитализма: Морозовы, Коншины, Малютины, Хлудовы и сотни других. Среди купцов даже ходила поговорка: “Что ни церковь — то поп, что ни фабрика — то Кноп”.

Впрочем, в благословенной “Матушке-Москве” шустрый немец обрёл более ценное, чем увековечивание в фольклоре, — огромное богатство и титул барона. Правда, чтобы всего этого добиться, в начале пути ему пришлось потрудиться буквально на износ. Фабрикант Н. А. Варенцов, характеризуя Кнопа, упомянул такие подробности из его биографии:

“В Москву он приехал молодым человеком на службу к одному немцу, представителю какой-то немецкой бумагопрядильни. Немец этот был грубый и, нужно думать, глупый человек (его фамилию забыл): приходящих к нему покупателей из простых русских людей не допускал к себе в контору, а заставлял их ожидать подолгу в передней конторы, посылая для переговоров к ним Кнопа. Кноп сразу оценил этих русских мужичков-покупателей, и в действительности они в будущем сделались крупными фабрикантами, как, например, Морозовы, Хлудовы, Солдатенков, Гарелин и другие, и они вытаскали Кнопа на своих плечах на ступень первого богача города Москвы (в то время состояние Л. Г. Кнопа оценивалось в 100 миллионов рублей). Кноп с ними подружился, стал ходить вместе в трактир; и когда эти милые мужички расходились в пьяном виде, они ради потехи мазали ему лицо горчицей”.

Весьма характерная деталь: разгулявшиеся московские купцы имели привычку расписывать острой приправой физиономии попавших под руку трактирных служащих и прихлебателей из числа “гольтепы”. Стоила потеха по сложившейся таксе 3–5 руб. – в качестве компенсации “за оскорбление действием”.

Схоже по сути свидетельство и другого летописца жизни московского купечества, П. А. Бурышкина:

“Есть мнение, что своим успехом Кноп обязан, прежде всего, своему желудку и способности пить, сохраняя полную ясность головы. Нравы торговой Москвы того времени были ещё почти патриархальными, и весьма многие сделки совершались в трактирах, за обеденным столом или “за городом, у цыганок”. Кноп сразу понял, что для того, чтобы сблизиться со своими клиентами, ему нужно приспособиться к их привычкам, к укладу их жизни, к их навыкам. Довольно быстро он стал приятным, любимым собеседником, всегда готовым разделить дружескую компанию и способным выдержать в этой области самые серьёзные испытания”.

Зато, став со временем своим человеком в купеческой среде, Кноп, по воспоминаниям Н. А. Варенцова, получил возможность обдирать своих вчерашних обидчиков, как липку:

“Среди текстильных фабрикантов Хлудовы были первые, осознавшие необходимость иметь свою контору в Англии; другие же фирмы выписывали нужные им товары через иностранные конторы, преимущественно через Льва Герасимовича Кнопа. Иностранцы, как говорят, “охулки на руки не клали” и брали с фабрикантов громадную прибыль, быстро составляя многомиллионные капиталы. Мне рассказывал Василий Алексеевич Хлудов, как он однажды был свидетелем разговора своего отца с Кнопом, желавшим продать Хлудову большую партию масла для машин. Кноп, назначив цену на масло, при том прибавил: “Эта цена только для вас, другим по этой цене не отдам!” – “Хорошо! – ответил ему Алексей Иванович. – А если я тебе продам масло той же фирмы в пять раз дешевле, чем ты мне предлагаешь, купишь?” Кноп даже не смутился, а расхохотался и сказал: “Тебя не поймаешь! Я согласен отдать масло по твоей цене и год сделаю сроку, но только с условием: пожалуйста, никому не говори об этом, другим продам по своей цене”.

По стопам Л. Г. Кнопа пошли два его сына и, как свидетельствует Н. А. Варенцов, вполне преуспели в бизнесе, но имели соответствующую репутацию:

“Кноп считались одними из самых богатых людей в Москве, имели большое деловое влияние на московское купечество, хотя оно за глаза над ними подтрунивало, называя их “клопами”, понимая, что как тех, так и других было трудно выбить из облюбованных ими мест”.

Возможно, современники были несправедливы в своих оценках. Новейшая энциклопедия “Немцы России” характеризует барона Кнопа немного иначе:

“В качестве фабриканта, поставщика и кредитора К. пользовался непрекаемым авторитетом среди русских промышленников”.

Судьба семейства Кнопов вовсе не уникальна. В Москве успешно обосновались и разбогатели кондитер Фердинанд Теодор фон Эйнем, фабриканты Альбер Гюбнер, Эмиль Циндель, семейства Юнкер, Вогау, Марк и многие другие.

Спустя полвека В. П. Рябушинский отмечал среди особенностей жизни дореволюционной Москвы такую деталь:

“У московских немцев первого поколения, ещё говоривших между собою по-немецки, нередко слышалось: “Mutterchen Moskau” – перевод “Матушка-Москва”.

Понятно, что так характеризовать своё новое местожительство могли “понаехавшие”, которые сразу по приезде ощутили по отношению к себе сердечность и радушие. Подтверждение этому мы находим на страницах журнала “Развлечение”:

“Приехал немец в Москву много лет назад с крошечным чемоданчиком, в котором не было ничего, кроме сюртука, связанных старухой матерью носков, различных принадлежностей туалета и целой кучи рекомендательных писем. С первой же минуты на вокзале немец понял, что в Москве проживёшь и без знания русского языка. Его встретил человек из немецкой гостиницы, усадил в карету, и она, звеня и дребезжа, потащилась по бесконечным улицам Москвы”.

Автор очерка о “московском немце” не обозначил точную дату появления своего героя в Первопрестольной, поэтому мы не можем сказать наверняка, в какую именно гостиницу повезли приезжего. Во второй половине XIX века трансфер от вокзалов на фирменных каретах практиковали хозяева многих первоклассных отелей. Что же касается нашего “понаехавшего”, то, как и многие из его соотечественников, он вполне мог соблазниться названиями гостиниц “Дрезден” (на Тверской) или “Берлин” (на Рождественке). Однако был отель, узнать который современники автора фельетона могли даже по такой краткой характеристике:

“В гостинице всё напоминало дорогую родину, начиная от кельнеров и кончая кружками заграничного пива. Родная речь стояла в воздухе, уснащаемая довольно тяжёлыми остротами, вызывавшими громкий смех. Немец приободрился и почувствовал себя совсем хорошо”.

В этом описании угадывается гостиница “Билло”, открытая в 1867 году на Лубянке. В ней было около четырёх десятков номеров стоимостью от 1,5 до 10 руб. за сутки. На радость иностранцам, приезжавшим в Москву, весь обслуживающий персонал владел немецким и французским языками. Кроме того, созданию образа “уголка Европы” способствовал интерьер: стены были украшены видами немецких городов, портретами властителей Германии и Австро-Венгрии.

В остальной обстановке демонстрировала бережливость хозяев, германских подданных В. Вельдемана и П. Бухгольца (принявших эстафету от первого содержателя отеля Эдуарда-Фридриха Билло де Васи). Архитектор И. Е. Бондаренко вспоминал: “Был ресторан Билло, с низким залом, кроме которого были ещё две небольшие комнаты; всё помещение было скромно обставлено весьма неприхотливой мебелью”.

Ещё одним “приветом с родины” были блюда национальной кухни, которые готовили для постояльцев. Соответствующим был широкий выбор иностранных вин и сортов немецкого пива.

Славился на всю Москву имевшийся при гостинице кегельбан, где периодически устраивались соревнования на приз “Билло”.

В зале Кегельбан-клуба также проходили заседания Общества взаимного вспоможения служащих на пивоваренных заводах, в программу которых обязательно входила дегустация пенного напитка. Характерен состав правления этого объединения (1913): И. И. Шавгаузер, Ю. В. Берда, Т. Мате, В. Штерцер и затесавшийся среди них В. Махлаев. Показательно и то, что статьи в “Альманахе для пивоваров России”, издаваемом Обществом, публиковали на немецком языке без параллельного перевода на русский.

Аналогичная картина наблюдалась в Московском обществе собирателей почтовых знаков. Филателисты собирались в “Билло” дважды в месяц по понедельникам под руководством А. Г. Гольштеге, К. К. Эбертсбуша, Ф. А. Гернгарда и О. А. Генерта.

В записках И. Е. Бондаренко упоминается ещё одна немецкая гостиница с рестораном, пользовавшимся популярностью у москвичей:

“На Софийке, в доме Туркестановой, был ресторан (первого разряда) “Альпийская роза”, содержавшийся немцем. Раньше это было скромное помещение, в буфете были даже простые дощатые крашенные столы. На буфетной стойке красовался огромный бочонок пива; [о] появили[и] нового бочонка возвещал удар гонга. Пиво было хорошее – получалось из Риги от Шитта

и даже выписывалось мюнхенское. Завтраки и ужины были скромные, недорогие. Позднее, в 900-х годах архитектор А. А. Остроградский перестроил здание, расширив помещение, и навёл так называемую роскошь и красоту, устроив и угловое кафе, где теперь ресторан “Савой”.

Немцы, торговцы и особенно артисты Большого театра были постоянными посетителями”.

Помимо гостиниц, к услугам иностранных вояжёров в Москве имелись и меблированные комнаты с немецкими названиями: “Вена”, “Эльзас”, “Страсбург”, “Тироль”.

Дальнейшие шаги нового “московского немца” ничем не отличались от действий его многочисленных предшественников:

“Рекомендательные письма возымели своё действие, и он получил место в одной из контор. Бесконечную чередой потянулись годы службы в конторе. Русские контористы кутили, растрачивали деньги, их выгоняли и судили, а немец вёл свою линию. Его повышали, ему прибавляли жалование, он завел знакомства, связи и, в конце концов, решил завести своё маленькое дело. Хозяин не удивился, услышав об его желании. Сам он когда-то проделал то же. Молодой человек забегал по городу, самостоятельное дело отнимало всё время, приходилось недоедать и недосыпать, но немец не унывал.

- Ну, как? – спрашивали его.
- Ничего! – отвечал он любимым словом Бисмарка.
- Наживаешь?
- Немножко!”

Молодой немец, стремившийся за счёт трудолюбия и упорства стать обеспеченным человеком и как характерный образ купеческой Москвы был отмечен П. Д. Боборыкиным в романе “Китай-город”:

“Глядя вслед убежавшему немчику, Палтусов вспомнил сегодняшние весёлые речи банковского директора. Вот хоть бы этот Карлуша! Какая ему цена? А он, наверно, зарабатывает тысяч двенадцать, а то, гляди, и все шестнадцать. Невесело целое утро разъезжать по конторам, а потом бегать по биржевому залу. Да ведь у него в голове зато ни одной своей мысли. Он дальше десятичных дробей вряд ли ходил. [...] Зато он немец!”

Отметил писатель и ещё одно важное обстоятельство, которое давало молодому немцу больше шансов добиться успеха, чем его русским сверстникам, – национальную солидарность:

“– Что ни маклер – немчура. От папеньки досталось. А немцы, как собаки, везде снюхаются!..

Оба расхохотались.

– Помилуйте, – продолжал горячиться директор. – Карлушка какой-нибудь паршивый, пара галстукон была у него да кальсоны вязаные, состоял на побегушках у жида в Зарядье, а глядишь, годика через три – биржевой маклер. Немцы выклянчили – в двадцати тысячах дохода...”

Точно такая картина наблюдалась в сфере малого бизнеса. Приезжий начинал работать под крылом соотечественника, уже прочно обосновавшегося в Москве. Затем, скопив необходимый капитал, заводил собственное дело, как герой романа К. И. Бабикова “Глухая улица”:

“Кругленький, в виде арбуза, гражданин города Риги Генрих-Франц Эзелькорн не более двух месяцев назад открыл на Глухой улице немецкую булочную. До этого блаженного времени он около шестнадцати лет тёр, что называется, лямку в пекарнях других, уже приобретших оседлость рижских и нарочито-германских Эзелькорнов, которые все начинают свою карьеру точно таким же манером, то есть сначала трут лямку, потихоньку скапливая зильбера и гольда, в то же время изучая вальс и нагуливая тело; потом заводят колбасную или булочную...”

Создав прочную материальную базу, “московский немец” переходил ко второму этапу: обзаводился семьёй. Итог его матримониальных хлопот, судя по очерку из журнала “Развлечение”, также имел ярко выраженный национальный характер:

“Торговля увеличивалась и росла. Конторист превратился в дельца, который начинал уже подумывать о женитьбе.

– Бери нашу русскую! – советовали ему у Тестова и в “Московском” (то есть во время застолья с купцами в знаменитых трактирах. – Авт.).

Он улыбался, но ничего не говорил и женился на своей землячке, которая принялась за хозяйство, ссорилась с прислугой из-за каждой копейки и сама приготавливала мужу его любимые кушанья. Сидя за столом, он весело говорил о том, как глупы эти русские, которые не умеют наживать деньги.

— А мы с тобой умеем! — смеется немец.

— Да, мой ангел?

— Да... скоро мы купим себе дом и заживём отлично.

Дом куплен, и немец устраивает в нём гнездышко и продолжает работать всё так же неутомимо”.

Помимо стремления обрести супругу, близкую по вере и культурным традициям, на выбор молодого человека во многом влияли коммерческие соображения. На это обстоятельство указывают исследователи истории семейства московских немцев Прове:

“Российских граждан из круга выходцев из немецких земель часто связывали семейные отношения, а личная уния помогала им в успешном ведении дел и концентрации предпринимательских капиталов”.

Примеров тому множество. Так, крупнейший российский предприниматель К. М. Вогау женился на москвичке во втором поколении И. Д. Шумахер, а одна из их дочерей, Августа, в своё время вышла замуж за В. А. Леманна (Лемана), возглавлявшего банкирский дом “Юнкер И. В. и К^о”. Верный соратник по бизнесу Л. Г. Кнопа — И. К. Прове — сочетался браком с сестрой жены своего патрона Э. И. Хойер. Его старшая дочь Эмилия стала женой биржевого маклера А. Ф. Миндера, а второй сын Карл через женитьбу на Анне Шульц породнился с другим кланом биржевиков. Оба сына Кнопа женились на сестрах Луизе и Софье, пайщицах крупнейшего в России семейного торгового дома “Ценкер и К^о”. Как говорится, деньги шли к деньгам.

Впрочем, из правил бывали исключения. У того же И. К. Прове младшая дочь Адель воспылила чувством к небогатому купцу Г. Г. Калишу. Девушку, потерявшую голову от страсти, отец даже увозил за границу, чтобы она забыла своего избранника. Однако любовь оказалась сильнее разлуки, и свадьба всё-таки состоялась.

Справедливости ради отметим, что браки по соображениям выгоды не были чисто немецкой чертой. В то время и русские купцы строго придерживались принципа: женитьба или замужество должны приумножать семейный капитал и открывать новые возможности для обогащения. Любовь же считалась пустяком и блажью.

На этом фоне вполне понятна ирония, с которой автор романа “Глухая улица” прошёл по поводу терзаний немцев, размечтавшихся о семейном счастье: “Всеми силами души стремятся отыскать для себя Амальхен, так как без Амальхен немцу на свете жить тошно. Отыскивать немцу подругу жизни тем легче, что и Амальхен, в свою очередь, начинает с шестнадцатилетнего возраста закатывать свои телячьи глазищи по направлению к небесам, распевать *Ach du lieber Augustchen* (“Ах, мой милый Августин” — австрийская народная песня. — **Авт.**) и всем своим немецки-рыхлым существом жаждать появления Франца или Карла. В этом-то закатывании глаз и в этом обоюдном искании и заключается самая суть германизации всего мира”.

Продолжая слегка подсмеиваться над своим героем, К. А. Бабилов почти лишил его надежды на счастье, а затем подвёл к нему настоящий подарок судьбы:

“Но на этот раз как-то случилось, что все — решительно все Амальхен, обретавшиеся в Москве, Францев и Карлов уже имели. Было отчего Генриху Эзелькорну придти в отчаянье! Глухая улица вывела его, однако, из беды.

Анна Петровна не раз являлась в немецкую булочную за столь же рыхлыми, сколь рыхло немецкое сердце, пеклеванными и белыми хлебами. У Анны Петровны были жёлто-бледные волосы, тускло-серые, подёрнутые грязноватой влагой глаза и миллион веснушек. Анна Петровна как раз подходила к немецко-рижскому идеалу, и гражданин Эзелькорн, продавая ей свои рыхлые хлебы, не мог втайне не помышлять:

— Какая прекрасная метхен!”

На чувство булочника девица ответила взаимностью, а её дядя был настолько щедр, что взял на себя расходы по устройству свадебного торжества. Благодаря многочисленным землякам жениха, дружно явившимся на праздник, получился почти настоящий бал:

“На свадебном пире, который Кречетов устроил на свой счёт у себя в доме, большинство гостей состояло из добропорядочных граждан города Риги. Несчастные контрабасы и тромбоны, с замечательным искусством наяривавшие вальсы и польки, до того были измучены неутомимыми бургерами, что про между себя говорили:

– То есть кабы знали – ни за какие деньги играть сюда не пошли.

– Духу нет даже, – соглашались тромбоны.

Но немецкие бургеры были в восторге от этого бала, и долго ещё среди них сохранялось предание о свадьбе Генриха Эзелькорна”.

Бабилов по ходу повествования упомянул незначительную, казалось бы, деталь: немцы до полного изнеможения себя и музыкантов натанцевались на свадьбе соотечественника. Но в этом и проявляется мастерство писателя: одним штрихом передать колорит эпохи. Здесь подчёркнуто характерное для Москвы второй половины XIX века несходство двух национальных миров.

Праздник в богатом русском доме подразумевал стол, ломающийся от разнообразной снеди и горячительных напитков; “бал” под наёмный оркестр и... малое количество танцующих юношей. Они просто не умели “выделывать ногами кренделя”, поскольку их “тятеньки” – лучшие представители “тёмного царства” – неодобрительно относились к тому, чтобы их отпрыски приобщались к достижениям европейской культуры.

Чтобы не пропадали деньги, уплаченные музыкантам, и не простаивали купеческие дочери, обученные танцам в разного рода пансионах, купцы, по свидетельству А. С. Ушакова, поступали просто: “За недостатком танцующих приглашались в довольно значительном количестве немецкие конторщики, которые, попав на даровую выпивку, как большая часть молодых немцев, буршествовали самым безнаказанным образом, и особенно под конец вечера купеческие дочери были кружимы ими в вальсе самым бесцеремонным образом; им зачастую приходилось выслушивать немало пошлостей и от них, и от своих русских кавалеров, из которых многие являлись в кадрили и лянсье с самым чистейшим запахом водки и разных закусок”.

Описывая Москву начала 1880-х годов, П. Д. Боборыкин отмечал, что молодые немцы, успешно занимавшиеся коммерцией, на купеческих балах уже танцевали не просто так, а с целью подцепить богатую невесту:

“Днём колесит по Москве и юлит на бирже; после биржи – обед, а ночью пляшет – невест себе выплясывает – до петухов; сегодня в Большой Алексеевской, завтра на Разгуляе, в Плетёшках, послезавтра на Татарской... И выпляшет – возмёт полмиллиона и банковый учредитель будет”.

Герои “Глухой улицы” не были столь амбициозны, зато в результате союза немецкого булочника и русской купеческой дочери появилась практически идеальная семья:

“Рижский гражданин сам наблюдал над тем, как пеклись белые и пеклеванные, потому что не наблюдаи ты, так русский человек таких тебе хлебов напечёт, каких “у нас в Риге ни один собак не попробует”. Анна Петровна с детьми к чаю вставала часов в семь и сама в кухне варакалась, опять-таки потому лишь, чтобы кухарка куда-нибудь чего-нибудь лишнего не бухнула. Разве этот народ хозяйское добро бережёт? Этому народу только волю дай, так он в один день столько добра изведёт, сколько на целую неделю хватит”.

Кроме трудолюбия, новая немецкая семья традиционно демонстрировала скромность в быту, особенно заметную на фоне окружавшей их русской действительности:

“За обедом Анна Петровна выпивала одну, а Андрей Иванович полторы рюмочки шнапсу, позволяя себе по праздникам уничтожать две с половиной. Две с половиной были заколдованным числом, увеличившимся только где-нибудь в гостях или уж по особенно торжественным дням. Впрочем, после этих торжественных дней рижский гражданин усмирлял себя и выпивал в будни за обедом только одну, а по праздникам полторы вместо двух с половиной. После обеда гражданин Эзелькорн ложился немного schlafen (спать – нем.), усыпляя себя несравненным “Дорфбарбиром” (немецкий юмористический журнал. – Авт.), приобретаемым весьма контрабандно”.

Мы не можем сказать наверняка, были ли у этой семейной пары реальные прототипы или некоторые черты жизни Эзелькорнов – полностью плод писательской фантазии. По крайней мере, считается, что в романе “Глухая улица” изображена жизнь московской окраины в духе “натуральной школы”,

то есть максимально реалистично. Следовательно, среди московских немцев могло быть и такое:

“Будничная жизнь архинемецкой четы проходила до того однообразно, что даже Анна Петровна очень часто недоумевала: какой нынче день – среда или пятница? Но и рижский гражданин, и Анна Петровна вполне были этой жизнью довольны и иной не требовали. Вначале ещё Анна Петровна до нарядов большая охотница была, но чем глубже проникал в неё германизирующий элемент, тем презрительнее относилась она к туалету. Домашние её платья не имели ни цвета, на формы: то были какие-то кули из какой-то дерюги, а для торжественных дней сберегалось под семью замками полученное ею приданое. Как бы не радоваться рижскому гражданину такой бережливости, если и он знаменитый свой свадебный костюм намеревался передать своему сыну. Этот костюм был гордостью рижского гражданина, и никто не мог не слышать, что Андрей Иванович сукно для фрака по четырнадцать рублей покупал. Самая презрительная, самая ироническая улыбка перекашивала губы Генриха Эзелькорна, если случайно заходил при нём разговор о современных портных. Что это за портные! Ни один из них шить не умеет, потому что тот портной, который Андрею Ивановичу свадебный костюм шил, давно уже закрыл своё заведение и уехал в Ригу. А кто может так шить? Никто!

Скарედность архинемецкой четы была не столько презренна, сколько смешна и наивна. Жадность свою они не считали жадностью; они называли её расчётом.

– Без расчёта жить невозможно! – говорила Анна Петровна. – Ещё Бог знает, что впереди-то будет и т. д.

И жили они в такой грязи и вони, в какой с удовольствием может жить только полосатая чушка”.

Последнее утверждение оставим на совести писателя и обратимся к свидетельству другого современника. Купец П. И. Щукин, описывая визиты отца к деловым партнёрам, отмечал такие детали:

“А. Ф. Гюбнер жил на фабрике, где у него был сад. В саду было много цветов и стояла большая железная клетка, в которой летом сидело множество разнообразных певчих птичек. [...] При Цинделевской фабрике был прекрасный фруктовый сад, за которым ухаживал сам старик Эмиль Эмильевич Циндель, основатель фабрики”.

При таком подходе к своему обустройству вряд ли в домах этих московских немцев царили грязь и беспорядок.

Единственное, что порой омрачало жизнь булочника, – это ослиное упрямство, с которым его русский родственник не желал признавать истину, давно ставшую аксиомой во всём цивилизованном мире. Когда Эзелькорн пытался доказывать “всё преимущество его милой Германии пред Русской землей”, его оппонент демонстрировал своё полное невежество:

“Положения или тезисы этого спора были таковы: все русские – дураки, подлецы и развратники; немцы – умницы, “плякоротны люди” и добродетельны, как никто. Он не раз вступал в спор и с Игнатием Андреевичем, но тот не церемонился и порешал так:

– Что ж ты, колбасник, своей Ригой важничаешь? Ну, лучше там, так и жил бы. За коим чёртом несло-то тебя сюда?

– Я хочу копейка нажить, – объяснял рижский гражданин.

– Видно, в Риге-то брюхо подвело? Отъелся здесь-то. Ну, и молчи.

– Зачем я буду молчать... Я всегда буду кофорить, што у нас люше.

– Да чем лучше-то?

– Всем луше.

– Чем?

– У нас каждый ландман образованный человек есть.

– Нищенствуете вы там все: вот что! К нам-то без порток приедете; отъедитесь, да нас же ругаете. Всех бы вас отсюда помелом, колбасников.

– Ну, это ещё посмотреть надо! Это не можно.

– Замочи лучше – обругаю.

И Андрей Иванович на самом деле замокал, хотя немецкое сердце так и кипело, так и кипело. Он замокал потому, что по опыту знал, как ругается Игнатий Андреевич, а его обругать он не смел потому же, почему самая злоющая шавка от бульдога во все лопатки, поджавши хвост, улепётывает”.

Возможно, булочник не слышал поговорку “Коли быть собаке битой, найдётся и палка”, зато прекрасно знал, что слишком упорное отстаивание истины может пагубно сказаться на нём.

Тем более что за примерами далеко ходить не надо – на Глухой улице быстро становились достоянием гласности события вроде этого: “Перед вечерними сумерками в “Голландском клубе” выпивалось уже разлихой компанией третье ведро московского пива, и едва державшийся на ногах шарманщик в сотый раз заводил “Лучинушку”.

Компания белобрысых немцев с лицами, которые казались вымазанными маслом, изъявила желание послушать национальных звуков.

– Косподин шарманщик, – обратился к музыканту “Голландского клуба” самый белобрысый немец, – wollen sie trinken (вы хотите пить – нем.)?

– С нашим удовольствием...

– Мальшик, бутылка пив каспадин шарманщик, – скомандовал белобрысый немец и прибавил: – А вы играйт Ach du liber Augustchen!

– Это я могу-с... У меня штрумент всё играет.

Разлихой компании такое поползновение на инициативу показалось оскорбительным.

– А ты кому играть должен? – спросил музыканта Кречетов, находившийся уже в разрезе.

– Я для вас всегда...

– Ну, и играй! Ты меня слушай!

– Это точно-с.

– Получай награду! А немцам ты играть не смей, потому – немцы-колбасники!

– Посфольте, посфольте, – вступился за свою честь колбасник, – ви так не может каварить.

– Что ты всё врешь!..

– Я такой клупость не хочю слушать.

– Не слушай!..

– Я вам не позволяй! Как вы может каварить, что я колбасник?

– А вот как! – Кречетов взял со стола наполненную пивом кружку и выплеснул немцу в лицо. Разлихая компания грохотала; немец обиделся и вломился в амбицию.

– Я сей шас паш квартал (то есть в полицию, к квартальному надзирателю. – Авт.) иду! Мой пальто стоит двадцать рубль. Ви заплатит мой пальто, – горячился немец.

– А то ты видел? – глумился над ним Кречетов, показывая ему фигу.

– Ви не заплатит? Нет, ви заплатит!..

– Морду я тебе разобью. Это верно.

– Нет, это не можно.

– Хочешь, попробую?

Немец попятился.

– О, русский мужик! – проговорил он, весьма свирепо посматривая на своего противника. Остальные немцы в это время горячо рассуждали о том, что им непременно следует вступить за своего товарища, но почему-то не заступились.

Шарманщик между тем играл “Не белы-то снеги!”

– Немец, – говорил Кречетов, – давай мировую.

– Was ist das (что такое – нем.) мировую? – спросил оскорблённый. – Я плагородный бюргер и друзья мои благородный бюргер: Nicht wahr (не правда ли – нем.)?

– О, ja, ja (да, да – нем.)!

– Мой пальто стоит двадцать рубль, я хочю получить с вас двадцать рубль.

– А не хочеш ли ты, немец, фиги? У нас не пообедаеш. Пива – можно.

– Нет, это не можно.

– Ну, так и чёрт с тобой, – заключил Кречетов, отходя от немецкого стола.

– О, русский свинья! – пробормотал благородный бюргер.

Кречетов не слышал этой брани, а то была бы немцу здоровенная потасовка”.

Не только на окраине, но и в центре Москвы немец вполне мог нарваться на грубость. Писатель А. М. Герсон “подсмотрел” в квасной лавке Городских рядов такой диалог между русским купцом и немецкой супружеской четой:

– А ты, братец, не ругайся.

– Это ты ругаешься, а я не ругаюсь со всяким свинья.

– Ты поговори ещё, немецкая валторна, так я те покажу.

– Ach, komm doch Johann! Пойдём!

– Nein, ich will ihm zeigen, я хочет ему показать...

– Ну, покажи! Есть ли что показать-то?

Немец показывает купцу кулак.

– Э! Это и у нас есть. Ты меня не дразни, потому я после воскресенья в таком разе, что всегда злой.

– Ну, дофолно! Lumprenbagage (шпана, подонок – нем.)!

– Чего? Что ты по-своему сказал? Эй, городской!

Немец быстро встаёт и расплывается.

– Пойдем, Carline! Diese Schweine... (эти свиньи – нем.)

– Поговори ещё, поговори.

– Я погавру, я тыщи раз погавру, я миллион раз погавру, но не с таким необразованным гробиан, как ты. Да! Вот што! Гробиан und grosser невэжа!

И он гордо уходит с женой под руку”.

Что касается прозвучавших эпитетов, то прозвище немцев “колбаса” зафиксировано ещё в словаре В. И. Даля. А вот утверждение, что все немцы – “колбасники”, по крайней мере для Москвы второй половины XIX – начала XX веков нельзя признать соответствующим действительности. Например, в 1900 году среди нескольких десятков владельцев колбасных заведений немецких фамилий удалось насчитать только девять.

А вот почему у московских немцев так легко соскакивало с языка выражение “русские свиньи”, вопрос этот ещё ждёт своего исследователя.

Впрочем, бывало, что эпитет “свинья” использовался в общении и между самими немцами. В 1900 году купец Д. И. Крум отправил открытку торговцу машинами и техническими принадлежностями, выделив крупными буквами первую часть фамилии адресата, так что получилось “ШВЕЙНфурт”. Густав Артурович счёл это оскорблением и обратился в суд.

Мировой судья Басманного участка В. И. Шевеликин, по сообщению газеты “Русское слово”, “усмотрел в такой манере начертания фамилии со стороны г. Крума оскорбление, тем более что для написания всей фамилии такими же большими буквами, как было написано “Швейн”, осталось достаточно места”. Приговор поставил любителя “художественного слова” перед выбором: уплатить штраф 25 руб. или провести неделю под арестом.

Крум выбрал третий путь – обжаловал вердикт и... был оправдан. Съезд мировых судей сослался на то, что нет закона, какими буквами следует писать фамилии. К тому же, на горе истца, в приговоре его фамилия была написана точно так же – “ШВЕЙНфурт”, но судье он претензий не предъявлял.

Что же касается “Андрея Ивановича” Эзелькорна и его соотечественников, то для них любые оскорбления, судя по свидетельству К. И. Бабикова, отступали на второй план перед достижением главной жизненной задачи:

“Гражданин города Риги и Анна Петровна жили в полном довольстве и счастии. Чего им было желать, если каждый год экс-германский бюргер pаш (в – нем.) Опекунский совет самодовольно похаживал (то есть как многие состоятельные люди делал вклад в так называемую “Сохранную казну”, находившуюся в здании Опекунского совета на Солянке. – Авт.), и если у Анны Петровны было пять шёлковых платьев и салоп на лисьем меху, надеваемый, впрочем, всего два раза в год? Чего было желать этой архинемецкой чете, насквозь пропитанной одной только целью: сберегать, сберегать, сберегать? Наслаждений каких-нибудь особенных от жизни они требовать не могли, ибо наслаждений этих они не понимали”.

Возможно, в этом проявлялась уникальность характеров именно булочника и его супруги. Что касается остальных московских немцев, то они отличались не только активным участием в разного рода развлечениях, но и сами их устраивали. Пусть даже за это приходилось платить. Об одном из таких мероприятий, проведённом в лучших немецких традициях, рассказал литератор Катин в “Заметках о московской жизни”:

“На Духов день московские немцы-меломаны устроили замечательное празднество в одном из окрестных сёл близ Москвы, где много живут на дачах, именно в Волинском, в том самом Волинском, где в прошлом году умный распорядитель бала вспрыснул водой зрителей.

Праздник смело может называться музыкально-пивным, так как эти два народных элемента составили существенную его часть.

Немецкие меломаны выдумали на русской почве изобразить нечто подобное германским празднествам, а вследствие этого явились в Волинское со знаменем в руках, значками, кокардами на плечах и на груди из разноцветных лент, с хором музыки во главе. Все участвовавшие в празднике имели какой-нибудь знак: или бант, или кокарду, а некоторые и несколько разноцветных кокард в ознаменование разных важных событий, как то: поездки в Ригу на большое музыкальное празднество и т. п.; музыканты также имели мундиры — только без кокард, а известные синие — потому что были жандармы”.

В том, что музыкальная команда Жандармского дивизиона сопровождала выступление немецкого хора, нет ничего удивительного. Военные оркестры давали концерты в местах общественных гуляний и по договоренности играли в ресторанах. А нанимать для антуража двух-трёх жандармов для сопровождения свадебных или похоронных процессий была давняя купеческая традиция. Впрочем, немцы так делать не стали, а при найме охраны обошлись меньшими затратами:

“Меломаны рано утром пришли в Волинское, остановились на горе и пропели несколько пьес, выпив притом сотню бутылок пива; после того они перебрались на дачу, убранную флагами и зеленью, и тотчас образовали стражу из туземцев. Мужички внезапно преобразились в пажей и оруженосцев: через плечо у каждого появилась белая перевязь, а в руках, как и следует, — палка; последнее, конечно, по собственному усмотрению. Стража поместилась у всех входов в огороженное верёвкою пространство и наблюдала, чтобы доступ имел только носящий кокарду”.

Оцепление понадобилось, чтобы на корпоративный праздник не проникли посторонние. Это было особенно важно ближе к финалу, когда многие участники настолько устали от общения с прекрасным, что уже не могли контролировать сохранность своего имущества:

“Дачники сбежались смотреть и слушать; но проголодавшиеся певцы принялись за завтрак, а потом разбрелись по саду; только перед обедом удалось им пропеть несколько пьес; а после же обеда, испорченного дождем, голоса у всех так отсырели, что можно было петь и без нот одинаково стройно; пение не состоялось, дирижёр решительно озлился и разбил, кажется, пустую бутылку с горя. От нечего делать немцы занялись спичками, в которых блистало игровое остроумие вроде следующего: “Я надел сегодня рубашку чистую, а она у меня теперь грязная” и т. д. Праздник к концу решительно сделался только пивным, музыка была забыта; не знаю, спасено ли было знамя, а несколько бойцов с мирным напитком “пали костями” и близ дороги три часа лежали тела, украшенные кокардами, тела, храпящие по всем правилам носовой гармонии...”

Этот музыкальный пикник состоялся в начале лета 1862 года и, по всей видимости, его организатором выступило хоровое общество “Лидертафель” (Liedertafel, от Lied — песня и Tafel — стол — нем.). К тому времени любители громкого пения должны были отметить первую годовщину своего коллектива. И хотя первая попытка показать отсталым аборигенам, что такое по-настоящему культурное проведение досуга, не совсем удалась, в дальнейшем “Лидертафель” прочно вошёл в жизнь обитателей Москвы.

Помимо культурной составляющей, ценность хорового общества для немецкой колонии заключалась в возможности объединяться по национальному признаку. Для этого в уставе “Лидертафеля” были закреплены две формы членства. Непосредственные участники хора, обязанные еженедельно посещать репетиции, а с 1896 года и предварительно пройти обучение в Школе пения, входили в категорию “активные”. Остальным членам Общества — они назывались “пассивными” — достаточно было уплачивать взносы. О них исследователь истории московских немцев И. Б. Томан писала:

“Пассивных” членов было примерно в два раза больше, чем “активных”, ибо послушать музыку и пообщаться в дружеском кругу стремились многие московские немцы, в том числе и те, которые не обладали ни вокальными данными, ни временем для участия в репетициях. Кроме того, “лидертафельцы” стремились привлечь в своё сообщество как можно больше уважаемых и авторитетных людей, что было важно для его престижа. “Пассивными” членами “Лидертафеля” были основатель московской школы для слепых детей

пастор Генрих Дикгоф; директор гимназии и реального училища при Петропавловской евангелическо-лютеранской церкви Герман Пак; известный московский архитектор Отто фон Дессин; владеец лучшего московского фотоателье Карл Фишер; знаменитый московский аптекарь Карл Феррейн и его сын Вольдемар – глава самой большой в России фармацевтической фирмы; музыкальный издатель Карл Гутхейль; владеец известного торгового дома Гуго Вогау; основатель крупнейшего в Москве машиностроительного завода Густав Лист; генерал-суперинтендант московской евангелическо-лютеранской консистории Пауль Эверт и другие”.

В традициях того времени в “Лидертафеле” имелась ещё категория “почётные члены”. Они не пели и не поддерживали Общество материально, зато придавали ему солидность, будучи видными музыкантами или высокопоставленными чиновниками. К ним, например, относились главный дирижёр Большого театра А. И. Барцал, немецкий композитор Макс Брух, московский губернатор В. Ф. Джунковский, градоначальник А. А. Адрианов.

С 1873 года и вплоть до Первой мировой войны еженедельные репетиции немецкого хора проходили в Русской палате гостиницы “Славянский базар”. Как правило, там же три раза в год (к Рождеству, 1 Мая, Дню основания Общества – 26 ноября) устраивались музыкальные собрания, именуемые “семейные вечера”, в которых участвовали все члены “Лидертафеля” и их близкие. В программу входили концерт, ужин и танцы. Ещё два раза в год любители хорового пения собирались чисто мужской компанией на так называемые “вечера господ”, проходившие уже без танцев.

Для проведения по-настоящему массовых мероприятий правлению “Лидертафеля” приходилось подыскивать более вместительные помещения. Например, в Благородном собрании на Масленицу 1910 года провели маскарад, где количество одних только зрителей превысило тысячу человек. И это при том, что входные билеты распространяли только среди своих. Тем, кто не попал в их число, оставалось завидовать счастливым, читая репортаж в газете “Голос Москвы”:

“В 11 часов началось шествие, которое открыла группа мухоморов. За ними следовали весёлые кузнечики, забавный воз с сеном, в который запряжены были две крошечные лошади с громадными тирольцами. В большом неводе тащили крокодила и несколько рыбок. Царица лета ехала в роскошной колеснице, украшенной розами. Её окружали бабочки, стрекозы, кузнечики. В громадной клетке везли двух обезьян. Группа католических аббатов с бутылками бенедиктина и с девицами под руку с весёлыми танцами прошла в этом шествии. Малороссийская деревня была здесь здесь налицо с её парубками и дивчинами. Шествие замыкал лесной царь, за которым следовал в колеснице принц карнавала, окружённый бабочками, арлекинами и проч. Это шествие прошло через большой зал дважды, и затем пред троном карнавала были устроены танцы. После шествия участники соединились с костюмированными зрителями, и танцы продолжались всю ночь”.

Осенью 1911 года “Лидертафель” с чисто московским размахом отпраздновал свой полувековой юбилей. Средства на этот фестиваль целенаправленно собирали в течение нескольких лет, вводя специальные членские взносы. Благодаря этому фонду удалось пригласить делегации от хоровых обществ из Берлина, Петербурга, Риги и других городов. Для размещения 400 гостей были сняты номера в лучших гостиницах.

Открылись торжества 26 ноября вечерним приемом делегаций в Большом зале Благородного собрания. На следующий день в Большом зале Консерватории хор “Лидертафеля” дал концерт, на котором прозвучала подборка произведений из тех, что были исполнены со сцены в течение 50 лет существования Общества. Вечером в Благородном собрании состоялись банкет и бал.

Гостей, сохранивших способность передвигаться, днем 28 ноября члены юбилейного комитета сводили на осмотр достопримечательностей Москвы. А вечером усталые, но довольные любители хорового пения вновь сошлись для совместного проведения досуга – на этот раз в Наполеоновском зале ресторана “Яр”. Московские немцы, прекрасно зная характер заведения, выбранного ими для вечеринки, устроили, как сообщали газеты, “Herren-Abend, нечто вроде нашего кабаре, исключительно в присутствии одних мужчин”. Для доставки гостей в загородный ресторан и возвращения их в гостиницы после бурно проведённой ночи были абонированы 16 трамвайных вагонов.

В завершение торжеств днём 29 ноября в Русской палате “Славянского базара” для гостей был назначен *Katerfrühstück* (завтрак-опохмеление – нем.), а вечером там же – прощальный ужин.

Празднование юбилея “Лидертафеля” прошло под девизом:

*Ob Sorge draht ob Freude blüht,
Hoch immerdar das deutsche Lied!
(Гнетёт ли горе, волнует ли радость,
Да здравствует вечно немецкая песнь!)*

Наряду с пением, сплочению московских немцев в немалой степени способствовали танцы. Характеризуя понаехавших в Москву “Эзелькорнов”, К. И. Бабилов упомянул о типичном для них занятии – “изучении вальсов”. Для современников писателя намёк был вполне ясен: речь шла о посещении Немецкого клуба, история которого началась с создания Танцевального клуба.

Весной 1818 года группа немцев обратилась к московскому генерал-губернатору за разрешением открыть в Бутырках клуб для иностранцев. Помимо регулярного проведения танцевальных вечеров, организаторы планировали устраивать балы, маскарады и музыкальные вечера. Попутно, чтобы общение между друзьями и знакомыми сделать максимально приятным, попросили позвонить в клубе игру в карты и на бильярде, а также продажу в буфете чая, кофе, пива, пунша и вина.

Всего год понадобился властям для вынесения положительного решения, но, когда клуб открыл свои двери для любителей танцев, его организаторы решили пойти дальше. По примеру Немецкого (Мещанского) Танцевального клуба в Петербурге, на утверждение был подан устав новой организации – “Немецкого гражданского общества”.

Таким образом, в феврале 1820 года к уже существовавшим в Москве со времён Екатерины II элитарным Благородному собранию, Английским и Купеческим клубам добавился Немецкий клуб. Отличительной чертой нового “центра досуга” было закреплённое в его регламенте важное для тех, кто не принадлежал ни к дворянству, ни к купечеству, положение: “Особа, не принятая в иное общество по предрассудку к его ремеслу и званию, может вступить в наше Общество”.

Демократическим по форме было и устройство Клуба: все важнейшие вопросы полагалось обсуждать на общем собрании. Вот только голосовать за то или иное решение могли лишь так называемые “полные члены”. “Безголосые” любители танцев составляли категорию “члены-посетители”.

Полноправные члены избирали из своей среды семь старшин, принимавших на себя организационные и хозяйственные хлопоты. Выборными были и пять “репрезентантов” – они контролировали деятельность старшин и при необходимости доводили до их сведения претензии, высказанные членами клуба. В случаях, когда между старшинами и репрезентантами возникали неразрешимые противоречия, последнее слово оставалось за выборным почётным старшиной. Зачастую этот пост занимал какой-нибудь высокопоставленный чиновник. Например, во второй половине 1860-х годов почётным старшиной был бывший московский вице-губернатор А. А. Тимашев-Беринг.

В 1830 году Немецкое общество едва не прекратило существование. Из-за истощения финансов ему нечем было оплачивать даже аренду дома на ул. Софийка (ныне Пушкинская). Вот тогда “сумрачный тевтонский гений” нашёл изящный выход из создавшегося положения. Общее собрание большинством голосов утвердило решение: открыть двери клуба для состоятельных аборигенов. Русским, чтобы они могли веселиться наравне с немцами, позволялось уплачивать членские взносы, но без права участвовать в выборах правления и претендовать на места в нём.

После этого денежные дела Общества довольно быстро пришли в порядок, и это так понравилось немцам, что три года спустя было внесено дополнение. Русским, которые уже составляли почти половину членов клуба, было предложено платить полный взнос – 18 руб. серебром в год, оставаясь в прежнем бесправном качестве.

В 1839 году при перерегистрации в “Московский Немецкий Бюргер-клуб” господствующее положение немцев вкуче с другими иностранцами было закреплено в новом уставе. Интересно, что этот документ был утверждён

во время отъезда за границу генерал-губернатора князя В. Д. Голицына. Исполнявший его должность военной комендант генерал К. Г. Стааль подписал устав, и вскоре по счастливой случайности был избран почётным старшиной Немецкого клуба.

Однако в господстве немцев была своя логика, отражавшая реалии эпохи. Русские, готовые потратить сравнительно немалые деньги на развлечения, но лишённые возможности сделать это в дворянских или купеческих клубах, были выходцами из среднего слоя купечества. Практически все они не могли похвастаться ни образованием, ни умением вести себя в обществе. Однако то обстоятельство, что документация Клуба велась на немецком языке, делало невозможным избрание русских в старшины.

Во второй половине 1860-х годов, когда стало ощутимым влияние проводимых в стране реформ, ситуация изменилась коренным образом. Повышение социального статуса русских купцов в сочетании с быстрым ростом их капиталов, появление среди купеческой молодёжи хорошо образованных людей привели к тому, что это сословие стало претендовать на роль хозяев жизни. Понятно, что при таких настроениях русские члены Немецкого клуба уже не могли мириться с дискриминацией по отношению к ним со стороны иностранцев.

Осенью 1865 года со страниц журнала “Современная летопись” вопрос прозвучал напрямую:

“Чем мы провинились и чем иностранцы для Немецкого клуба лучше нас? Нежинский грек, нахичеванский армянин, бердичевский еврей и казанский татарин могут быть членами Немецкого клуба; а москвич, калужанин, саратовец — не могут! Какая же причина лишает нас, русских, этой чести, за что мы в опале?”

В ходе полемики автор статьи “Сан-Марино на Софийке” легко опроверг постулат о неспособности русских разобраться в документах на немецком языке. Затем он открыл истинную подоплёку упорной защиты незыблемости первого параграфа устава Немецкого клуба:

“Вторая причина заключается в опасении, что при допущении русских в члены клуба они вскоре составили бы большинство, так как русское население в Москве несравненно многочисленнее немецкого, и тогда-то большинство выбирало бы русских старшин, русский элемент стал бы преобладать в немецком учреждении, и это учреждение, основанное немцами, наконец, совершенно утратило бы свой национальный характер”.

Журналист предложил взглянуть на ситуацию с позиции здравого смысла:

“Первая причина смешна. Почему француз, англичанин, армянин и татарин скорее могут знать немецкий язык, чем русские уроженцы? Кроме того, члены клуба могут не выбирать в старшины членов, не знающих немецкого языка, и даже это условие могут постановить для членов всех вообще наций. Вторая причина, по-видимому, основательнее, но в сущности ещё смешнее. Что такое национальный клуб? Национальными бывают только политические клубы, учреждаемые для обсуждения национальных интересов. В таких клубах заседают одни заговорщики и исключительно занимаются проектами, как разрушить или изменить систему правления в своём отечестве, как опрокинуть кабинет, как вымочь у правительства какие-нибудь права для народа, и уже не в домино-лото, не в карты, не на бильярде там играют. Если бы даже в Немецкий клуб и вздумал усвоить себе характер политического собрания, то и тогда интересы отечества его членов не перестали бы оставаться интересами России, так как Россия не перестала бы быть их отечеством. Но до сих пор члены московского Немецкого клуба собирались туда не для заговоров, а поесть, попить и поиграть, и название “Немецкий” никак не обязывает, чтобы там членами были исключительно немцы. Здесь слово “немецкий” не качественный эпитет клуба, а не более как форма, вывеска, как у других клубов: Английский, Дворянский, Купеческий. В Английском есть и немцы, и русские, и почти нет англичан; в Дворянском есть купцы, а в Купеческом дворяне. В Немецком клубе есть, например, члены, родившиеся от русской матери, исповедующие Православие и некоторые, не умеющие ни слова по-немецки. Неужели такой член потому только немец, что он Миллер или Шмидт? Теперь предположено пересмотреть устав и в новом уложении постановлено будет, что одни только немцы могут быть действительными членами клуба; иностранцы так же будут лишены этого права. Что за охота нашим мирным немецким коммерсантам основывать особую клубскую нацию? И без того

добрые люди отыскивали у нас и виленскую, и рижскую, и полтавскую национальности! Что за надобность устанавливать ещё новую национальность на Софийке?”

Впрочем, автор статьи тут же сообщил читателям, что дело не в стремлении немцев реализовать право нации на самоопределение в рамках отдельно взятого клуба. Конфликт, который привёл “полных” членов к делению на “немецкую” и “русскую” партии, лежал в области финансов.

Яблоком раздора послужил эконом клуба, распорядительность которого вполне устраивала многих старшин — им не приходилось заниматься скучными хозяйственными делами. Однако нашлись и те, кому не нравилось, что эконом при расходовании клубной казны действовал по сути без контроля. В частности, они требовали объяснить, почему в течение нескольких лет выходило так, что буфет приносил одни убытки. Да и по некоторым другим позициям отчёты эконома не вызывали доверия.

Страсти накалились настолько, что генерал-губернатору князю В. А. Долгорукову пришлось прислать для разбирательства своего адъютанта. Он-то и доложил, что в клубе возникли две группировки. Одна требовала сосредоточить всю полноту власти исключительно в руках немцев. Их противники настаивали, чтобы полноценные права наконец-то получили и русские. Внимательное изучение расстановки сил в этом конфликте позволяет предположить, что розыгрыш “русской” карты давал оппозиционерам возможность значительно расширить число своих сторонников.

Тем не менее, ни одной из сторон не удавалось взять верх, и борьба затянулась на целых пять лет. В какой-то момент адепты “культурно-национальной автономии” добились чуть ли не абсолютной власти. Так, 4 марта 1867 года было принято постановление о запрете входа в общественное собрание всем, кроме немцев. А спустя два года были исключены из клуба яростный защитник интересов русских купец Теодор Бенке и группа его сторонников. В ответ участники кампании в их защиту обратились к властям, обрисовав сложившуюся в Клубе ситуацию:

“Управление, заключающееся в старшинах и репрезентантах немецкого и немецко-еврейского происхождения, старается всеми средствами не допустить русских членов ни к какому участию в делах клуба и удержать за собой бесконтрольные действия”.

В ходе полемики зазвучали и такие утверждения: “Никто из иностранцев после вступления в Российское подданство не может быть в то же время ни немцем, ни другим иностранцем”, “не может быть в Российской империи никакой, кроме русской, национальности, из каких бы народностей она не состоялась”. Возможно, что также прозвучали обвинения, что из клубного капитала, увеличившегося к тому времени вместе со стоимостью недвижимости 420 тыс. руб., значительные суммы уходили в Германию. Однако проверка показала, что помимо 3000 руб., пожертвованных в пользу семей немецких солдат, погибших и раненных на войне с Францией, других расходов не было.

Поскольку в спорах зазвучали политические мотивы, в дело наконец-то вмешался московский генерал-губернатор В. А. Долгоруков. По его настоянию 16 декабря 1870 года был принят новый устав, в котором было чётко прописано:

“Членами клуба могут быть лица мужского пола всех сословий и национальностей”.

Вместе с тем неизменным осталось правило: претендент на избрание старшиной обязательно должен был знать немецкий язык. Зато в вопросе о протоколах был достигнут компромисс — их стали печатать на немецком и русских языках.

Вскоре чиновник, направленный для проверки, доложил в канцелярию генерал-губернатора, что ситуация изменилась коренным образом: “Клуб можно назвать смешанным и посещаемым по старой привычке иностранцами, более же немцами и русскими. Это клуб русских ремесленников, мелких торговцев и мелких чиновников. Правда, что в каждом из этих сословий немецкий элемент входит в известной пропорции, но элемент этот не чужд русской жизни, он большею частью акклиматизировался”.

Обрусение Клуба было настолько успешным, что в 1887 году произошла отмена обязательности знания старшинами немецкого языка, а два года спустя упразднили ведение протоколов и переписки по-немецки.

В конце 1890-х годов в Клубе была образована комиссия по выработке нового устава и переименованию “из московского **немецкого** в какой-либо

другой клуб с именем, отвечающим русскому национальному чувству". Для обсуждения были предложены названия "Всесословный" и "Общественный". Инициативная группа, затеявшая эту реформу, ссылаясь на то, что "в настоящее время число членов клуба, принадлежащих к чисто немецкой нации, слишком ограничено, а именно не более одной шестой части; большинство же членов русского происхождения, принадлежащего к разным сословиям".

По неизвестным для нас причинам процесс переименования затянулся на долгие годы. Лишь с началом Первой мировой войны на волне ура-патриотизма Немецкий клуб после исключения из него всех немцев получил новое название — "Славянский".

Противостояние двух группировок в Немецком клубе отразило разницу подхода выходцев из Германии к своему пребыванию в России. Одни, как мы видим, не считали зазорным интегрироваться в иную национальную среду, постепенно превращаясь в "московских немцев", другие упорно стремились остаться немцами в чистом виде.

Правительство Германии, в свою очередь, считало необходимым культивировать патриотические настроения среди соотечественников, проживавших за границами фатерлянда. В результате стали возникать общественные организации соответствующей направленности. В Москве, например, в 1879 году под непосредственным покровительством кайзера было основано "Общество вспомоществования германских подданных" (вариант названия в справочниках "Вся Москва" — "Вспомогательное общество германских граждан"; в современных исследованиях — "Союз подданных Германской империи для помощи нуждающимся землякам"). Зримые успехи деятельности Общества отмечал автор очерка "Московский немец":

"Он не только наживает, но благодетельствует своих бедных земляков. Против Александровского института помещается приют для больных и старых представителей германской колонии, и если бы вы видели, какой лаской и заботливостью окружены те, которых закинула сюда судьба. Всё напоминает им родину, они гуляют по саду, довольны и благословляют опять-таки Россию".

Последнее утверждение остаётся на совести журналиста. Вряд ли обитатели приюта могли выражать благодарность кому-то ещё, кроме германского правительства и своих соотечественников. Это на их деньги на Новой Божedomке был, по свидетельствам современников, буквально воссоздан уголок Германии. И вовсе не русские в 1897 году установили в саду бронзовые бюсты императора Вильгельма I и его верного соратника — "железного канцлера" Отто фон Бисмарка. Да и сам приют был назван в честь кайзера и его супруги: "Фридрих-Вильгельм — Виктория".

Австрийцы, кстати, тоже не остались без монаршего покровительства Франца-Иосифа I. Под его патронажем в Москве действовало "Австро-венгерское вспомогательное общество".

В 1907 году, чтобы успешнее поддерживать и укреплять "национальное немецкое самосознание", было создано "Московское немецкое общество". В эту организацию принимали как граждан Германии, так и тех немцев, что принесли присягу на верность российскому императору. Такой подход позволял объединять всех адептов немецкой культуры, желавших её "беречь, защищать и умножать". С этой целью при Обществе были устроены библиотека с читальней и училище "для детей обоего пола", проводились лекции и театральные представления.

Однако главным патриотическим мероприятием для московских немцев было празднование дня рождения кайзера. Начиная с 1889 года, 14 (27) января происходило торжественное богослужение в лютеранском кафедральном соборе Петра и Павла в честь Вильгельма II. В 1913 году газеты сообщали, что на этой церемонии присутствовали градоначальник А. А. Адрианов, командующий войсками МВО П. А. фон Плеве, начальник Московского дворцового управления кн. Н. Н. Одоевский-Маслов, германский генеральный консул Б. К. Кольгас, бар. А. Л. Кноп, все иностранные консулы и другие начальствующие лица.

Вечером того же дня "более двухсот членов германской колонии во главе с генеральным консулом" собрались на банкете, устроенном в "Славянском базаре". По описанию репортёров, большой зал ресторана "был декорирован зеленью и национальными флагами. Утопал в тропической зелени бюст императора Вильгельма II. Над ним огромный одноглавый орёл".

Интересно, что участники праздничного пира с одинаковым энтузиазмом славили как кайзера, так и российского самодержца:

“Первой была провозглашена здравица за Государя Императора. Здравнца была покрыта единодушным “hoñ”, мощно прозвучавшим по залу три раза. Затем следовали здравицы за императора Вильгельма II и всех членов царской семьи. “Hoñ” чередовалось с русским “ура””.

Историк Андреас Келлер, изучая жизнь немцев, обосновавшихся в России, пришёл к выводу:

“На исходе своей истории перед 1-й Мировой войной московское немецкое общество приобретает новые черты. В нём появляется новый тип русского интеллигента немецкого происхождения, который волею судеб и своего рождения был посредником между немецкой и русской культурами, которые ему были родными. Этот новый тип русского интеллигента был одним из важных факторов в деле примирения двух “национализмов” и примером отсутствия национальной ограниченности. В немецком обществе были выработаны механизмы совместного культурного сосуществования немецкой и русской культур в крупной городской агломерации. С достижением определённого порога ассимиляции жизнь национального сообщества немцев стабилизировалась и имела отлаженный механизм воспроизводства своей национальной культуры в окружающей такой своеобразной и богатой культуре, как русская”.

“Но ведь не всем везёт так!” — цитировал мнение современников автор очерка “Московский немец”. И тут же пояснял выгоду сохранения тесной связи с покинутой родиной:

“— Конечно, но и тогда немцу обходится легко то, что русскому переживать довольно трудно. Заметив упадок дел, он летит к немцу-адвокату и спрашивается с торговым уставом. Почитав статьи его, он видит, что ничего особенно страшного нет и можно самым лучшим образом удрать за границу. Выправив себе паспорт и забрав денег сколько можно, немец удирает, послав своим друзьям воздушный поцелуй. Издалека он следит за процессом и, если исход его благоприятен, он возвращается обратно и очень доволен.

— Чудная страна! — говорит он о России. — Живётся легко, свободно...”

По всей видимости, отъезд из Москвы был мерой крайней. Не побоимся предположить, что подавляющему большинству немецких предпринимателей удавалось преодолевать возникавшие трудности, не прибегая к столь радикальному средству. Одним из примеров служит история становления фирмы “Товарищество А. К. Дангауэра и В. В. Кайзера”.

В 1869 году “пруссский подданный и временный московский купец” Генрих-Карл Дангауэр (он же Андрей Карлович) открыл на улице Вознесенской (ныне Радио) слесарно-механическую мастерскую. Через четыре года она получает статус котельного завода, выпускающего оборудование для винокуренных и сахарных предприятий. Поскольку эту продукция пользовалась огромным спросом, завод постоянно расширялся. В 1883 году в дело вошёл компаньон, тоже гражданин Пруссии Христиан-Вильгельм Кайзер, превратившийся в Москве в Василия Васильевича.

Лишь одно обстоятельство омрачало жизнь этих немецких промышленников. Напротив завода, в бывшем дворце Демидовых, располагалось Елизаветинское женское училище. Как установили авторы книги “Знаменитые немцы Лефортова”, на протяжении многих лет Совет училища требовал от властей избавить их от беспокойного соседства, ссылаясь на то, что “шум и стук бьют до того сильно, и не только летом, но и зимой при двойных рамах явственно слышны в училище, когда производитсяковка в несколько молотов...”

Показательно, что в ходе проверок полицией было бесспорно установлено: фактическая мощность оборудования завода значительно превышала официально разрешённую. Однако и это не смущало владельцев, продолжавших забрасывать генерал-губернатора прошениями, в которых ссылались на то, что возврат к установленным нормам приведёт их к разорению.

Не обошлось дело и без помощи соотечественников. Исследователи цитируют сохранившийся в архиве документ — заявление вдовы Вильгемины Волковой:

“Я, соседка завода Дангауэра, удостоверяю сим, что никакого беспокойства и опасения в пожарном отношении означенный завод мне не причиняет”.

Ценное свидетельство при тяжбе о чрезмерном шуме, но, как говорится, всякое лыко в строку. А вот Совет училища так и не удосужился заручиться

поддержкой других обитателей Вознесенской улицы. Целых четырнадцать лет понадобилось, чтобы немецкое Товарищество всё-таки перенесло завод в безлюдную местность.

Полагаем, при глубоком изучении выяснится, что подобного рода истории – бессилие властей заставить иностранных инвесторов полностью выполнять требования российских законов – не были из ряда вон выходящими. Наверняка не просто так журнал “Развлечение” констатировал:

“Немец особенно любит Москву, потому что она и центральна, и демократична. Московское общество довольно снисходительно к иностранцам, и немец чувствует себя, как рыба в воде. [...]”

Словом, с какой стороны ни смотри, немец всегда и всюду благословляет нашу отчизну, и если его можно упрекать в чём угодно, то никак уж не в чёрной неблагодарности. Он доволен, улыбается и высоко поднимает кружку пива за благо страны, которая кормит его, и обитатели которой дают наживать другим, бедствуя сами”.

А завершался очерк “Московский немец” таким жизненным наблюдением:

“Супруга иногда поговаривала о возвращении на родину, но потом и она приросла к Москве и начала толстеть, хотя говорить по-русски, конечно, не научилась. Московский немец отлился в форму и смиренно ждёт, когда пробьёт его час, и бездыханное тело его будет опущено в землю на Введенских горах”.

Здесь речь идёт о кладбище, которое так и называлось – Немецким. По указу Екатерины II оно возникло в 1771 году за городской чертой того времени, на высоком берегу реки Синички. Этот погост именовали также Иноверческим, поскольку юридически он подчинялся Комитету иностранных исповеданий.

На Главной аллее кладбища традиционно хоронили протестантов, а для католиков был отведён отдельный участок в северной части. Смотрителя кладбища и его заместителя назначал Комитет. При этом строго соблюдали два правила: кандидаты должны были не менее пяти лет состоять прихожанами московских католических или протестантских церквей; если пост смотрителя занимал католик, то его заместителем обязательно становился протестант – и наоборот.

В 1911 году для отпевания умерших Евангелическо-лютеранской, Католической, Реформатской и Англиканской церквей на кладбище была построена общая часовня.

Так и жили бы немцы в Москве долго и счастливо, если бы не грянула Первая мировая война.